

Оглавление

1. САМОЕ НАЧАЛО. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР	7
2. ПОКРОВКА	24
3. СОСЕДИ	30
4. БАБУШКА И Я	38
5. РОДСТВЕННИКИ	45
6. КАЗАНСКАЯ ДОРОГА	49
7. БАБУШКА АНЯ И ДЕДУШКА ВАСЯ	57
8. УЛИЦА ГРАНОВСКОГО	62
9. СЛОВА И СМЫСЛЫ	77
10. ДОШКОЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ	88
11. ПЕРВЫЕ СМЕРТИ	103
12. БРАТ ЛЁНЯ И БАБУШКА РИТА	113
13. ШКОЛА № 92	131
14. КОРАБЛЁВ	138
15. ПИСАТЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛОК	147
16. РУЖЬЕ И АВАРИЯ	155
17. ТРАВА У ЗАБОРА	162
18. ВАНЬКА ДЫХОВ	177
19. ДРУЗЬЯ ОТЦА	189

20. ЯША АКИМ	205
21. ВРЕМЯНКА	215
22. БОЛЕЗНЬ И СВОЯ ДАЧА	232
23. КАРЕТНЫЙ РЯД	246
24. ШКОЛА № 175	263
25. ШКОЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ	276
26. ОТДЫХ И ИНОСТРАНЦЫ	291
27. КСЮША И НЯНИ	309
28. ЖИВОПИСЬ	326
29. ФИЛОЛОГИЯ	340
30. ПИРЫ	353
31. ФАНТАЗИИ	366
32. РАЗЛУКИ	377
33. БЕЗУМИЕ	387
34. ФИЛОСОФИЯ	399
35. ВСТРЯСКА	412
36. ЭКЗАМЕН	417
37. КРАСИВЫЕ СЛОВА	429
38. ХУЛИГАНЫ И БАССЕЙНЫ	444
39. ПОДРУГИ, ПРОТОТИПЫ И ОБИДЫ	454
40. КНИГИ И ЛЮБОВЬ. КАРУСЕЛЬ	467
41. КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ	485

1. САМОЕ НАЧАЛО. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР

Мне было лет восемь. Мы с папой шли по Моховой. Мы вышли из нашего двора на улице Грановского, повернули налево, вышли на улицу Герцена и пошли направо. На другой стороне был Зоологический музей, куда я так любил бегать, посмотреть чучела зверей и птиц — кажется, меня туда пускали бесплатно: совсем маленький. Там сильно пахло нафталином, особенно на втором этаже. В самом конце, после всех тигров и обезьян, в дальнем стеклянном шкафу стоял скелет человека. Я его боялся и близко не подходил.

На доме пять по Герцена были ампирные маски львов, похожие на дедушку Васю, мамино папу.

Мы перешли улицу и пошли налево. Справа от нас было пустынное величие Манежной площади, завершенное грандиозной приземистой избой Манежа. Желто-белый Арсенал глядел из-за красных стен Кремля, понизу подцвеченных слабой зеленью Александровского сада. Смешные башенки Исторического музея. Серый айсберг гостиницы “Москва”.

Мы с папой прошли мимо желтого университета, потом мимо бежевого дома с огромными колоннами. На углу, у дома с большими окнами папа вдруг остановился и помахал кому-то в окне рукой. Сказал: “Зайдем на минутку”. Мы

свернули за угол, вошли в стеклянные двери, которые нам открыл человек в черном костюме с серебряными полосками, и прошли мимо витрины с пирожными — я на ходу повернул голову и даже успел заметить зелено-розовые *корзиночки*, бархатистые с тремя точками крема *картошки* и присыпанные слоистой крошкой *наполеоны*.

Мы вошли в зал ресторана, и там за столиком у окна сидел человек; он повернулся к нам, страшный старик, с большим, острым, но уплощенным, как бы придавленным книзу носом, с сизыми космами на блестящем выпуклом лбу. Перед ним стоял графинчик с желтым вином и тарелка с обкусанным бутербродом. “Вот, — сказал папа. — Сынище. Зовут Денис”.

Старик положил мне руку на плечо, притянул к себе. У него были маленькие голубые глаза. Он потрепал меня по плечу и сказал, что вот нас уже трое. Значит, надо *на троих*. И поэтому чтобы папа *распорядился*. От старика чем-то сильно пахло, как будто валерьянкой, но не совсем.

Я сказал: “Здрасте”. Он улыбнулся своим глубоко вмятым ртом и отпустил меня. Папа позвал официанта. Официант принес еще графинчик и бутерброды с колбасой. Старик с папой о чем-то поговорили. Потом папа с ним попрощался, и я тоже. На улице я спросил: “Чем от этого старика пахнет? Как будто валерьянкой?” — “Перегаром”, — сказал папа. “А это что?” — “Неважно, — сказал папа. — Ты читал «Три толстяка»? Это он написал”. — “Нет еще, — сказал я. — У нас есть такая книжка, я видел. Я прочитаю!” — “Да-да, конечно”, — сказал папа.

Я помню, папа говорил мне, что он когда-то показывал меня Юрию Олеше. Но я ничего не помню, кроме вот этого рассказа папиного, этих папиных слов. Но мне прочно кажется, что это на самом деле было. Впрочем, может быть, это и на самом деле *было на самом деле* — ведь не стал бы мне папа врать? Да и зачем? В расчете на мои будущие мемуары? Даже смешно. Но ведь папа любил слегка присочинить.

Выйдя из ресторана, мы пошли дальше. Но куда? Вверх по улице Горького?

Например, в знаменитый книжный магазин № 100, который у памятника Юрию Долгорукому? Или в кафе-мороженое, чтобы “смутузить по две порции” и запить газированной водой “Кахетинская”, как написано в рассказе “Девочка на шаре”? Нет, разумеется! Потому что в таком случае мы бы не стали идти по Моховой вдоль Манежной, а сразу бы нырнули в переулок под названием “Улица Белинского” (ныне Никитский переулок) — кстати, на углу которого и был Зоологический музей.

Значит, мы шли куда-то еще и по дороге зашли в “Националь”. Но куда? Конечно же, в “Детский мир”, это было совсем недалеко. Зачем мы шли в “Детский мир”? Конечно, покупать мне игрушку. Какую? Конечно же, грузовик, игрушечный самосвал, тот, который я потом отдал своему другу Мишке Слонову за светлячка — как и написано в рассказе “Он живой и светится”. Один из первых и самых лучших “Денискиных рассказов”. Всё сходится.

Всё, кроме одного.

В каком-то детском журнале мне задали вопрос: “Какие игрушки из вашего детства сильнее всего повлияли на вас?” Чего тут долго думать? Конечно, старый плюшевый мишка из рассказа “Друг детства” и тот самый самосвал. Верность, доброта, сопереживание — и хрупкая живая красота в противовес холодной жестяной пользе. Как прекрасно.

На самом деле этих игрушек не было. Папа придумал и про светлячка, и про плюшевого мишку. Но придумал так, что я всей душой поверил, что они у меня были. Хотя знал, что их не было.

Поэтому мне иногда трудно провести границу между собой, то есть Денисом Драгунским, и Денисом Кораблёвым, который тоже — я. Границу между выдуманной жизнью Дениса Драгунского и подлинной жизнью Дениса Кораблёва.

Подлинная жизнь Дениса Кораблёва состоит из каких-то нелепостей.

Взять, например, Сашку Гинзбурга. Мама и папа говорили мне всё время: если бы не Сашка Гинзбург, тебя бы на свете не было. “Пришла к Сашке Гинзбургу в гости, а там молодой и веселый артист”, — говорила мама про папу. “Как у Сашки было прекрасно. Большая комната в коммуналке, много народу, и там я увидел молодую и красивую студентку ВГИКа”, — говорил папа про маму. В общем, сплошной Сашка Гинзбург.

Проницательный читатель, должно быть, уже догадался. А если не догадался, я подскажу: Сашка Гинзбург — это не кто иной, как Александр Галич. Уже потом, в 1960-е годы, папа с мамой не очень активно с ним общались, но все-таки бывали у него в гостях. Рассказывали о нем и о его жене, которая была ужасно худая, и поэтому ее звали “Фанера Миловская”. Тогда он был знаменит — уже не как драматург, автор популярных пьес и сценариев, но как совершенно культовый, говоря по-нынешнему, бард. Хотя тогда и слов таких не было. Просто говорили “песни Александра Галича”. То есть постоянно слыша о Сашке Гинзбурге, он же Александр Галич, как своего рода крестном отце, я так с ним и не познакомился, хотя имел сотню возможностей.

Так у меня часто бывало. На дачных аллеях, уже гораздо позже, я постоянно видел Твардовского и Симонова, но почему-то ни разу с ними даже не поздоровался, не говоря уже о том, чтобы в расчете на будущие мемуары задать хоть какой-нибудь вопрос — например: “Александр Трифонович, как сегодня вода в речке, теплая, можно купаться?” или: “Константин Михайлович, кто вам больше нравится — Киплинг или Гумилев?”. Не сомневаюсь, что какой-нибудь ответ я бы непременно получил. В конце концов, это были незлые и интеллигентные люди. Вряд ли бы они грубо шутанули соседского мальчишку, сына своего не слишком знаменитого соседа. Но однако я пробежал мимо, иногда осто-

рожно разглядывая то красивый, чуточку восточный смуглый профиль Симонова, то мужиковатое, с маленьким курносым носом лицо Твардовского, а иногда наоборот — то ли гордо, то ли смущенно отворачиваясь от них, когда они шли навстречу. И потому рассказы о встречах с разного рода незаурядными личностями, которых в своей жизни я перевидал немало, особенно в жизни детской, будут, скорее всего, мемуарами живописца, а не писателя. Просто картинки.

Однако рассказать кое-что все-таки придется. Но это по большей части будет о себе, а также о папе с мамой, друзьях-приятелях и разных ничем не замечательных личностях, с которыми я общался всю свою молодость. Но уж какие есть. Вам они, может быть, не замечательные, а мне — нравятся. Может быть, всего лишь потому, что других у меня не было.

Так что начнем.

Денис Кораблёв, то есть я, — позже мы попытаемся разобраться в отношениях этих двух персон, но пока объединим их в одно, — итак, Денис Кораблёв, то есть я, родился в первой половине прошлого века. Смешно сказать, две недели и два дня отхватил из первой половины, родившись 15 декабря 1950 года.

Позже родиться я никак не мог — это мне объяснила моя детская подруга Маша Зверева, дочка хорошего, рано умершего советского писателя Ильи Зверева — настоящее имя Изольд Замдберг, но по совершенно понятным причинам он взял псевдоним. Папа с Изольдом дружил, и особенно дружили моя мама Алла и жена Изольда Женя. И вот, рассказала мне Маша, примерно 8 марта 1950 года — то ли в предыдущую субботу, то ли в следующую — они вчетвером где-то остались ночевать. Была чья-то пустая удобная квартира, поэтому можно было улечься попарно, в разных

комнатах. “Ну и вот, — завершила Маша, — шестого декабря родилась я, а пятнадцатого ты. Потому что заделали нас одновременно”.

Мои мама и папа познакомились и сошлись в октябре 1944 года (в октябре 1945-го мама подарила папе десятый том Стендаля из знаменитого “желтого” собрания сочинений — с надписью “В день нашей годовщины”). Но расписались они только в июле 1950-го, когда я в мамином животе уже образовался со всей несомненностью и рельефностью.

Совсем недавно, буквально год назад, я узнал, в каком роддоме я родился. Я, конечно, подозревал, что это тот же самый роддом, в котором в декабре 1965 года родилась моя сестра Ксения, а потом в ноябре 1974 года — моя дочь Ирина. Но вот Ира раздобыла папочку со старыми справками у моего племянника, Ксюшиного сына. Ура, это был тот же самый роддом. Сейчас он имени Абрикосовой, в честь благотворительницы, которая построила его в начале XX века, а тогда, разумеется, назывался роддомом имени Крупской. Официально — справка была выдана в 1950 году — “имени Н.К.Ульяновой-Крупской”. Я впервые узнал, что у Надежды Константиновны, оказывается, была двойная фамилия.

Первый год своей жизни я прожил на Рождественском бульваре. Там в какой-то коммуналке была комната, которая принадлежала — настолько, насколько слово “принадлежать” применимо к тогдашней жизни, — папиному троюродному брату Мише Аршанскому. Он был ленинградец. Они с папой очень дружили. Осталась переписка, дружеская, внимательная и нежная. Эти два человека действительно любили друг друга, интересовались каждым шагом, каждым движением, каждым событием и, главное, каждой мыслью. О любви, об истине, о симпатиях и антипатиях, о честности и подлости, о про-

читанных книгах... Длинные письма. Может быть, когда-нибудь я их разберу и перепечатаю.

Судьба у Миши была непростая. Он был, как говорила мне мама, блестящий офицер, стал подполковником чуть ли не в двадцать пять лет. “Ездил по делам” в Иран, но вдруг его карьера резко застопорилась, из армии он ушел и стал ученым-электротехником, а немного позже — организатором науки и производства, выражаясь официально. В те годы, когда я его хорошо помнил, он был заместителем директора НИИ ферритов в Ленинграде. Феррит — это магнитный диэлектрик. Когда я, как все мальчишки 1950–60-х годов, начал паять самодельные транзисторные приемники, дядя Миша привозил мне ферритовые сердечники для антенн. Среди книг с автографами, которые стояли у папы на полке у письменного стола, была небольшая книжечка вот с таким названием: “Керамические конденсаторы малой реактивной мощности”. Это была Мишина книга с надписью: “Моему дорогому брату от автора, который всю жизнь хотел писать про другое, но не сумел”.

Женой Миши была совершенно замечательная женщина Галя, то есть Галина Викториновна Иллиувиева. Она заведовала кафедрой геохимии в Ленинградском горном институте. Как-то мы с ней гуляли по Васильевскому острову, и она невероятно легко, интересно и даже как-то весело — именно весело! — рассказывала мне, как добывают остатки цветных металлов из рудных отвалов. Мне было лет пятнадцать тогда, и я говорил маме, что хочу вот такую жену, как Галя. “Какую — такую?” — удивлялась мама. “Умную! Умную! Умную!” — чуть ли не кричал я. Забегая вперед, скажу — сбылось!

У Гали был брат Владик, то есть Владислав Викторинovich, инженер, изобретатель, участник атомного проекта и крупный чиновник в оборонной промышленности. Блестящая карьера, ордена, премии, огромное обаяние и много водки. Помню, как однажды в знаменитом поселке Кома-

рово под Ленинградом, где была дяди-Мишина дача, мы вместе с Владиком ходили в сельский магазинчик, и он, слегка красуясь передо мной, перед продавщицей и очередью, говорил: “Триста грамм конфет, бутылочку лимонада и водки шесть бутылок”. — “Сколько?” — изумилась продавщица. Он уточнил: “Пожалуй, все-таки семь”.

Кто был Мишин отец, я точно не знаю. Об этом как-то не говорилось. А маму его, старушку Полину Михайловну, очень маленькую, очень тоненькую, изящную и — судя по выражению лица — несколько надменную и капризную, я помню прекрасно. Моя мама шепотом говорила мне, что Миша — безупречный сын, потому что Полина Михайловна относилась к нему, мягко говоря, легкомысленно: бросала его, оставляла у каких-то туманных дальних родственников, а то и вовсе какие-то годы он проводил, что называется, в детских учреждениях. Однако Миша (тут мама поднимала палец) был безупречным сыном, и как только встал, что называется, на ноги, он тут же принялся заботиться о своей матери. Устроил ей жилье, помогал деньгами, постоянно к ней ездил. То есть не просто деньги переводил, а именно что заботился в самом прямом и непосредственном смысле. И так до самой ее смерти.

Полина-то Михайловна и была связующим звеном между семьями. Она была двоюродной сестрой моей бабушки, папиной мамы. А еще у Полины Михайловны был знаменитый брат, Исаак Михайлович Кауфман, главный библиограф библиотеки имени Ленина, то есть как бы главный библиограф страны, автор толстых словарей и справочников. Когда Исаак Михайлович умер, дядя Миша, его племянник, перевез к себе в Ленинград на дачу всю его библиотеку и весь архив, нескончаемые картотеки, которые были заделом для будущего какого-то словаря. Я как раз тогда заехал к дяде Мише и дивился этим рядам кожаных тисненых переплетов, что расположились на свежеструганных полках, специально сколоченных для такого случая. Дядя Миша

сказал мне: “Выбери себе одну-две-три книжки и возьми на память”. Смешно, но я так ничего и не смог выбрать. Интересных книжек на разных языках было так много, что выбрать одну, две или даже три не было никакой возможности. Помню, там было красивое издание “Заратустры” Ницше на немецком языке. Зачем это мне, подумал я, только перед девчонками хвастаться; немецкий я знал кое-как. Еще был чудесный четырехтомник Шекспира на английском, в довольно редком издании — “Издательство английских рабочих в СССР”. Ведь были и такие; и английские, и американские, и немецкие, и какие угодно рабочие приезжали в Советский Союз помогать строить коммунизм, и вот даже издательство организовали и Шекспира издали. Мне сначала захотелось попросить у дяди Миши этот темно-синий небольшой четырехтомник — там были все пьесы, но напечатанные мелким шрифтом и на тончайшей бумаге. Я даже представил себе, как красиво он встанет на книжную полку в моей комнате и как умные девочки будут говорить: “Ух ты!” — а я буду говорить: “А то!” — но трезвость взяла верх, что, как я понимаю теперь, странно для двадцатилетнего парня. Да, трезвость взяла верх, потому что в тот же миг я понял, что, конечно же, не буду читать этого Шекспира. Ведь я пробовал, еще давно. Шекспир по-английски труден и, если честно, не так и интересен, во всяком случае мне в тот самый момент. А выпрашивать у дяди этакую дорогую игрушку, даже не игрушку, а просто красивую блямбу на книжной полке мне вдруг стало неловко, и я сказал: “Нет, спасибо, что вы. Не надо”.

Но пока вернемся на Рождественский бульвар. Разумеется, я не помню эту комнату. У меня есть только две фотографии. Одна — где папа разговаривает по телефону, телефон эбонитовый настольный, с большим диском, на котором видны цифры и буквы, но разгова-

ривает папа не на самом деле, а позируя перед фотографом. А вторая фотография — где я лежу, голенький пупсик задницей кверху, на фоне книжных полок, а на этих полках помимо книг, знакомых мне уже по взрослой жизни, — например, собрания сочинений Гоголя в узеньких томах в суперобложках как будто из карельской березы, в желто-черных разводах, — стоят еще две фотографии: Михаил Ромм, режиссер, в чьем фильме играл мой папа (его единственная кинороль), и приятный пожилой мужчина с усами, который сосредоточенно раскуривает трубку, но при этом с дружелюбным подмигом смотрит в объектив, то есть Сталин. Такой вот интимный домашний Сталин, под которым жил не только весь советский народ в целом, но и я в частности.

Потом, как я уже сказал, у Миши Аршанского что-то случилось на его военной службе, в результате чего комнату у него отобрали, и мы переехали к бабушке на улицу Чернышевского, раньше и нынче Покровка, дом 29, квартира 20. Но поселиться там было непросто. Дело в том, что в этой квартире когда-то давно жил мой папа. Еще тогда, когда бабушка перебралась в Москву из Гомеля вместе с моим папой, которому было около десяти лет, и своим новым мужем, опереточным артистом Михаилом Рубиным. Бабушка моя была просто учрежденческая секретарша и, наверное, машинистка — у нее была пишущая машинка, и она иногда на ней что-то печатала. Именно в этой комнате родился папин брат, второй бабушкин сын, Лёня.

Бабушкина судьба — это целый роман или даже Шекспир. Тот самый Шекспир, от которого я столь легкомысленно отказался. Может быть, как раз надо было прочесть его эдак в оригинале, со словарем и что-то понять про себя, про бабушку и вообще про жизнь.

Бабушку мою звали Рита Львовна. Ее папа, Лев, или Лейба, Драгунский, был учитель и социал-демократ, известный